

Зинаида ДОЛГОВА

Дерево для тети Тины

Время собирать камни. Время отдавать долги. А этот, безусловно, мой, и пока не оплаченный. Так что надо спешить: почти не осталось людей, которые могут подтвердить мои слова.

Харетина Кондратьевна Казанцева, о которой хочу рассказать, достойна звания "Праведник мира". И душа, о наличии которой все время спорят, настойчиво напоминает мне: "Поторопись!".

В августе 1962 года я в четвертый раз поступала в одесский университет. Перед аудиторией, за которой, возможно, решалась наша судьба, стояла высокая красивая девушка. Ее глаза не оставляли сомнения в том, что мы принадлежим к одной, нежелательной в этих стенах этнической группе. Так я и пошутила, знакомясь с ней.

Но девушка мягко ответила: "Я русская". Многие я не могу простить советской власти, но это стоит первым в списке ее злодеяний: Люба, которая никогда не лгала, Люба, давно знающая, что она удочерена и фактически спасена русской женщиной, вынуждена была сказать неправду. Мы были чужими, а ей очень хотелось учиться, пусть и на вечернем отделении.

Но много позже я поняла, что не это было главной причиной, заставившей ее так ответить. А живущая в Хайфе Любина подруга, Рахель Могилевская, недавно подтвердила мою догадку: Люба, которой соседи в семь лет рассказали правду ее появления в семье Казанцевых, никогда не говорила маме, что ее тайна — уже не тайна.

Нас было трое на том потоке, связанных чем-то незримо, но крепко. И нас любила группа. 6 лет мы, три еврейские заводилы (увы, и Мэри Городецкой-Трифоненко, спустя годы ставшей заведующей отделом восточной литературы самой большой библиотеки бывшего Советского Союза, в котором еврейская литература заняла достойное место, уже нет в живых), дружили. На заседание нашего домашнего кружка считали за честь попасть многие. Доцент Вера Федосеевна Руденко, наш руководитель диплома, так и ответила: "Посчитаю за честь". (Написала "честь" и подумала, что оно больше других определяет суть Любиного характера.) Мы ездили к Грину и к Волошину, когда еще были живы жены — хранительницы этих домов-музеев, мы обсуждали фильмы и книги, читали и переписывали самиздаты.

И меня, а еще раньше Рахель Могилевскую (в девичестве Фридман) поражало, насколько Люба, которая была тоньше, интеллигентнее и, конечно, образованнее своей мамы, никогда не показывала это. Всегда прислушивалась к маминим советам и желаниям.

Сегодня все, что касается нашей с Любой общей молодости, литературных споров, хранится только в моей памяти. И в памяти Любиных сыновей, особенно младшего, который старается как можно больше узнать о маме.

Но есть то, что я хочу, чтобы узнали все. Это не только факт биографии Любы и ее мамы. Это факт нашей общей биографии.

Тогда в университетском коридоре я ответила: "Такие глаза говорят, кто их обладательница". Больше мы к этой теме не возвращались. Незачем было. Я уехала с мужем в Новосибирск. Летом приезжала и старалась навещать Любину маму — тетю Тину. Она уже болела.

И вот в один из дней Харетина Казанцева показала мне письмо-треугольник. В семье моих ровесников хранились такие письма. Только не все из их отправителей могли потом перечитать их и вспомнить... Вот и отправителя этого письма Антонина Казанцева не дождалась. И спасенную ею девочку — свою дочку — он ни разу не видел. А обращался в письме он к обеим.

Наверное, пора объяснить все. Ради этого и пишу. Мы сидели с тетей Тиной (так по привычке я и называла ее) в полутемной комнате на Франца Меринга, 59, она держала руку на извещении о гибели мужа и говорила, говорила, как будто чувствовала, что недолго осталось. Вспомнила, какой была веселой, какой была певуньей. Рассказывала, как любила детей, как создавала дворовый детский театр. Она торопилась, пропуская события, годы... А потом вдруг сказала: "Люба ведь не моя родная дочь. Но муж (она кивнула на треугольник) знал, что я взяла ее. Он тогда под Одессой воевал. Я перешла линию фронта. Да какая там линия? Вот это Одесса, а это чуть дальше. Пешком прошла, чтобы рассказать ему..."

В тот день (у меня и сейчас мурашки по коже) я узнала, что до Любы тетя Тина уже пыталась спасти еврейского ребенка, мальчика. Его бросила в подъезд в надежде, что выживет, женщина, которую с десятками других гнали в гетто. "Я прятала его на чердаке. Соседи знали, но никто не выдал. Умер маленький. Не спасла..." Любе в то время уже было 30 лет, а эта женщина слотнула, говоря о смерти чужого младенца. "И тогда я пошла в приют. Некоторых детей прятали соседи. Но потом отводили в приют под чужими именами. Боялись." Настоящей фамилии девочки не знал никто. Так у меня появилась дочка. Когда я сказала мужу, он меня поддержал. Вот только Любушку он так и не увидел..."

Рахель Могилевская, та самая подруга детства, написала мне: "Всю жизнь я поражалась мудрости ребенка, который нашел в себе силы не сказать маме, что соседи, те самые соседи, которые не выдали ее ни румынам, ни немцам, рассказали ей, семилетней, кто она на самом деле. В тех самых выражениях. Чтобы знала свое место". Об этом мне уже много позже рассказала Люба. А Рахель (или Люся, как называли ее в школе и во дворе) узнала от своей мамы, Кипнис Брониславы Григорьевны, которой сама Тина по какому-то наитию рассказала. И восьмилетняя Рахель никогда не говорила об этом с Любой. Наше поколение взрослело рано. И умело молчало.

Удивительно ли, что в школе и потом Люба дружила с еврейскими девочками? Как будто пыталась понять себя. И замуж вышла за еврея. Еще была жива Любина бабушка, мать тети Тины. Я прекрасно ее помню. Сухонья старушка уже не вставала. Когда Люба привела будущего мужа в дом, бабушка сказала: "Выходи за него, Любушка. Бог знает, что делает. Это твоя судьба". Бабушка тоже не знала, что Любе все известно.

Я познакомилась Любу со своей приятельницей Антониной Соломоновной Бобович. Она была намного старше нас, но нас многое связывало. Однажды она осторожно не то сказала, не то спросила, почему Люба так похожа на еврейку. Поняв по моему выражению лица, что я знаю, почему, она только и сказала, что и ей известна правда. На мой немой вопрос ответила, что в переулке Чайковского живут ее знакомые, которые знали Антонину Казанцеву и историю спасения Любы. Мне бы тогда этих людей разыскать. Но мы были молодыми, кто мог подумать, что Люба уйдет так рано... Да и о Праведниках мира я тогда не слышала, и Израиль во мне отозвался разве что гордостью родителей и их друзей, обозначенной в памяти рядом с датой: "1967 год".



В году, если не ошибаюсь, 1985-м я решила поехать в Меджибож. Там в гетто погибли родители отца и его сестра со всей семьей. Памятник жертвам поставили на деньги родственников. Я помню, как приходили к нам люди, собиравшие средства на памятник.

Я никогда не видела своих погибших родственников. Но это место я обязана была посетить.

Вы верите в случайности? Я — нет. Люба вызвалась поехать со мной.

Сегодня в Меджибоже не осталось ни одного еврея. Но тогда мы, пройдя несколько десятков метров, встретили старую женщину, бывшую учительницу. Показав дорогу, она вдруг спросила Любу:

— Из чьей ты семьи, дочка?

Люба побледнела. Фамилия "Казанцева" ничего не сказала старой учительнице. "Удивительное сходство! — сказала она. — Просто вылитая..." И несколько раз оглянулась, уходя.

Я не остановила ее. Любе стало плохо, ее трясло так, что слышно было, как стучат зубы. Она долго не могла прийти в себя. Долго не могла успокоиться: почему хотя бы не спросила, на кого она так похожа?

В 1990 году я с семьей уехала в Израиль. Люба к тому времени уже несколько лет была в отпуске. Вы не знаете, какие секреты могла выдать сотрудница "Комсомольской искры", занимающаяся письмами читателей? Даже если там были жалобы.

Люба начала работать санитаркой. И... поступила в Киевский пединститут на отделение сурдопедагогике. Когда произошла авария в Чернобыле, она была на весенней сессии, которая длилась несколько недель. Через год врачи обнаружили у Любы рак. Первые две операции она перенесла в Одессе. Институт при этом закончила. И работу свою сурдопедагогом полюбила.

Умению не сдаваться, преодолевать трудности, достойно нести материальные и физические невзгоды Люба научилась у своей матери Харетины Кондратьевны Казанцевой. Не было случая, чтобы меня не угостили в этом доме коржиками, состряпанными буквально по рецепту деда из "Колобка". Это умение пригодились Любе и в Израиле, когда, наконец, ее семья получила разрешение на выезд. В Москве в ОВИРе она рассказала свою историю. У нее было письменное свидетельство Рахелиной матери. Ей поверили. Сказали, что исправят записанное в 5-й графе.

В слезах Люба вышла на улицу, где ждали ее сыновья. Только тогда мальчишки узнали, что если бы не бабушка Тина, их могло бы и не быть. Но в Израиле оказалось, что в ОВИРе обманули. Любу записали русской. А она мечтала о дереве в честь своей матери на алее Праведников...

Начались обычные олимовские трудности: иврит, курсы сурдопедагогов. Она была самой перспективной на курсе. Дала блестящий зачетный урок. Впереди, казалось, только хорошее. Казалось. Но Чернобыль догнал Любу и на Земле Обетованной. Чтобы Любу похоронили на еврейском кладбище, мне пришлось на моем еще не окрепшем иврите рассказать всю ее историю в раввинатском суде.

В Москве не поверили, а седобородые раввины поверили.

И теплится надежда, что и в Яд-ва-Шем отнесутся с доверием к свидетельствам пока еще живущих людей, кому доподлинно известна эта история. И потянется к нему, куда, говорят, поднимаются души праведников, дерево в честь Праведницы мира Харетины Кондратьевны Казанцевой.

Токвиль

и

"Старый порядок"

В один из погожих весенних дней 1969 года я бродил по переулкам старой Москвы. Маршрут был традиционный: "Книжная лавка писателей" — "Пушкинская лавка" — "Букинист" в Столешниковом. Книжных сюрпризов не было, в "Пушкинской лавке" купил "Воспоминания" Токвиля. Токвиль знал достаточно хорошо, в моей библиотеке уже была книга "О демократии в Америке" и книга Сореля с биографическим очерком историка. Вдруг рядом стоящий незнакомый мужчина, типичный интеллигент — сходу оценил я — неожиданно вмешался в мой немногословный диалог с продавцом:

— А вы серьезно интересуетесь Токвилем? Мне Токвиль тоже интересен. Глаголев — преподаватель кафедры философии МГИМО.

— А я — бывший студент философского факультета МГУ.

— Я там учился, у меня много знакомых на факультете.

Разговорились. Владимир Сергеевич оказался очень интересным собеседником. Вспомнили знакомых профессоров и преподавателей.

— Самая зрелая и интересная работа Токвиля — "Старый порядок и революция". Она была переведена в начале 1900-х на русский, но с тех пор не переиздавалась. Токвиль неинтересен как политик, но интересен как политический мыслитель. На Западе его высоко ценят как идеолога политических свобод и гражданских прав. Написал он по меркам своего времени немного, но его мысли о французской революции и революциях вообще оригинальны по содержанию и блестящи по форме. Он классик французской литературы, как и другие историки Реставрации, Гизо или Тьер. Может быть, когда-нибудь я напишу книгу о нем, а почему бы нет?

Зайнтригованный этой встречей, я рванул в библиотеку. К моему удивлению и какому-то трудно объяснимому счастью, "Старый порядок" был не в спецхране, а в открытом доступе. Прочитал за один вечер, нашел массу аналогий с нашей революцией, мне сразу показалось, что в этой книге заключена какая-то большая тайна прошлого и ненавязчивый прогноз будущего. Никакой прогресс не может называться прогрессом, никакие административные и экономические реформы реформами, если они ущемляют политическую свободу и гражданские права. Будущее Европы Токвиль связывал с отказом от идеи централизации и тотального контроля государства над обществом, он первым указал на опасность писательских иллюзий, указывал и предостерегал против поспешного отката от достижений старого порядка. Его политическим идеалом была реформистская модель развития общества, исключаяющая классовую борьбу в форме революций и социальных потрясений. Продуктом революции, как правило, становится еще более жесткая централизация, а следовательно, каждый шаг вперед в сторону иллюзорной социальной справедливости окунается двумя шагами назад в ущемлении Свободы.

Прошли годы. Доктор философских наук Владимир Сергеевич Глаголев на рубеже 80-90-х годов написал несколько действительно интересных книг, в том числе об истоках русской культуры и православия. Среди них книги об Алексисе Токвиле, пророке трагедий XX века, не было.

А жаль!